



Лауреат  
Национальной  
книжной  
премии США

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

# Берега

Роман о семействе  
Дюморье

PREMIUM

Азбука Premium

Дафна дю Морье  
**Берега. Роман о  
семействе Дюморье**

«Азбука»

1937

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

## **дю Морье Д.**

Берега. Роман о семействе Дюморье / Д. дю Морье — «Азбука»,  
1937 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-11937-6

Романизованную историю своей семьи Дафна Дюморье опубликовала в 1937 году, в возрасте тридцати лет. До того она успела написать биографию отца, английского актера и антрепренера Джеральда Дюморье, и четыре романа. Писательница стояла на пороге славы: уже вышел роман «Трактир „Ямайка“», а всего через год будет издана «Ребекка», ее главный мировой бестселлер. Погружаясь в атмосферу Европы девятнадцатого столетия, писательница воссоздает жизнь своих англо-французских предков – от прапрабабки, любовницы герцога Йоркского, до деда, знаменитого романиста и художника Джорджа Дюморье. «В истории полно бурных событий и грозных ударов судьбы – тут пропавший муж, там скандал и судебное разбирательство, – но все они поданы в форме романтической комедии и невероятно занимательны», как сказано в предисловии к английскому изданию. Дафна Дюморье всегда с азартом исследовала характеры и судьбы людей, таинственные нити, которыми настоящее связано с прошлым, неизменно обнаруживая «призраки повсюду – не бледные фантомы, гремящие цепями через вечность... скрипящие половицами в пустых домах, а веселые тени былого»... Впервые на русском!

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-11937-6

© дю Морье Д., 1937

© Азбука, 1937

## Содержание

Часть первая	7
1	7
2	11
3	16
Часть вторая	20
4	20
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Дафна Дюморье

## Берега. Роман о семействе Дюморье

Daphne du Maurier  
THE DU MAURIERS

© А. Глебовская, перевод, 2016

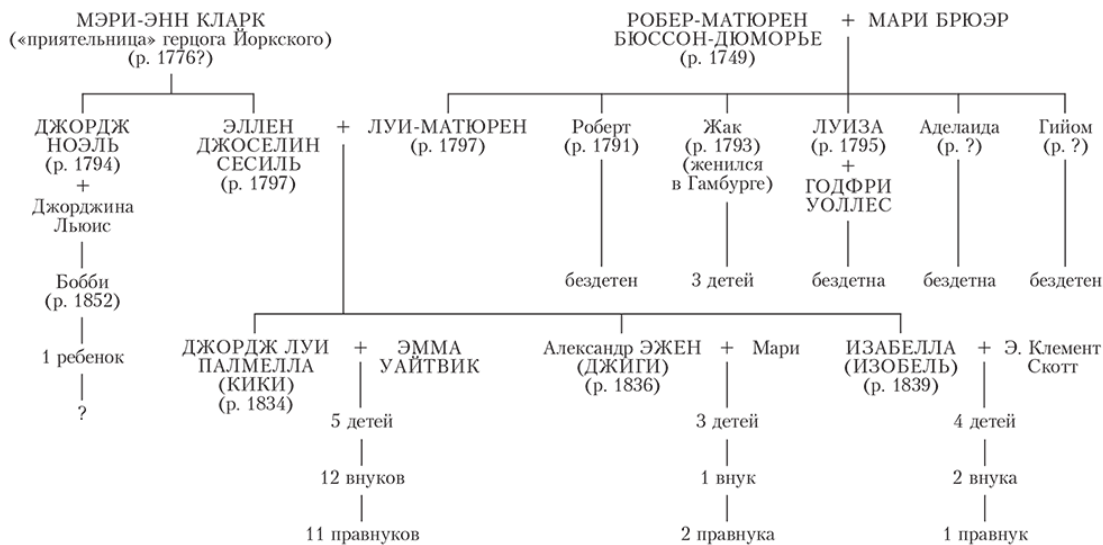
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

*Всем ныне здравствующим потомкам Луи-Матюрена Бюссона-Дюморье и его жены Эллен Джоселин Кларк (их, по моим сведениям, тридцать один человек) посвящаю, с искренней признью, этот очерк семейной истории.*

*Дафна Дюморье  
Октябрь 1936 г.*

### ФАМИЛЬНОЕ ДРЕВО СЕМЕЙСТВА ДЮМОРЬЕ



У Эллен Джоселин и Луи-Матюрена 31 ныне здравствующий потомок

## Часть первая

### 1

Лолодным днем весны 1810 года щуплая двенадцатилетняя девочка с бесцветным лицом прижималась носом к оконному стеклу в одной из комнат величественного особняка на Вестбурн-плейс. Находилась она в спальне для прислуги, поскольку из остальных комнат вынесли всю мебель и странные люди, которых она никогда раньше не видела, шныряли по двум гостиным, указывали на столы и стулья, ощупывали грубыми, грязными руками позолоченные ножки кушетки из будуара, придирчиво водили пальцами по богато расшитым портьерам. Она следила за ними с самого утра, на нее же никто не обращал внимания; никто не мешал бродить по комнатам и коридорам, смотреть, как суровый джентльмен в темном сюртуке привязывает бирки с номерами к стульям из столовой. В какой-то момент джентльмен ушел, но через несколько минут вернулся с двумя рабочими – в фартуках, с рукавами, закатанными до локтя. Джентльмен распорядился, чтобы рабочие вынесли стулья.

С исчезновением стульев вид у комнаты сделался странно непривычным. Потом пришел еще какой-то человек: он разложил все лучшие вещицы из стекла и фарфора на боковой консоли, расставил так, как ему казалось покрасивее, а после перенес столик в гостиную и поставил у стены. Стулья были составлены спинка к спинке в длинный ряд, картины же сняли с крючков и сложили стопкой на полу.

Девочку больно ранило бездушное отношение всех этих людей к материнским вещам. Ей уже некоторое время назад объяснили, что дом на Вестбурн-плейс будет продан, а они с мамой переедут в другое место, но ей и в голову не приходило, что у них отнимут столы и стулья, стекло и фарфор и даже тарелки, с которых они привыкли есть. Незнакомые руки прикасались к знакомым вещам, ощупывали их одну за другой, и вот наконец образовалась печальная процессия, словно череда скорбящих на похоронах: из дома один за другим выносили крошечные трупы, которые не знали слов прощания. Когда с привычного места над лестницей сняли позолоченные часы, девочка не выдержала, отвернулась и со слезами на глазах забралась наверх, в спальню для слуг под самой крышей.

Сколько одиноких вечеров скрасили ей эти старинные часы! Каждые пятнадцать минут они вызванивали нежную мелодию, которую она слушала, лежа в постели без сна, – и часам всякий раз удавалось ее утешить. А теперь она их больше не услышит. Скорее всего, часы окажутся у людей, которым не будет до них решительно никакого дела, которые не станут смахивать пыль с улыбочивого циферблата, а колокольчики заржавеют и станут фальшивить. Стоя на коленях, прижав нос и подбородок к стеклу, девочка впервые в жизни ощутила легкую досаду на мать, которая все это позволила.

Мир девочки утратил уютное постоянство еще в прошлом году, когда повседневная жизнь, про которую каждый ребенок думает, что такой она будет всегда, внезапно переменилась. Она больше не ездила каждое утро в фаэтоне рядом с мамой по Гайд-парку в ряду других экипажей, они больше не наведывались в Ричмонд и не пили там портер с лордом Фолкстоном, который, бывало, измерял ее наездничьим хлыстом – подросла или нет. И пока мама ее смеялась, болтала, дразнила лорда Фолкстона и в своей неподражаемой манере шептала ему, прикрыв рот ладошкой, непонятные слова, от которых он покатывался со смеху, маленькая Эллен сидела тихо, точно мышка, надувшаяся на крупу, и наблюдала эту игру со странным, врожденным чувством неодобрения. Если взрослые вот так проводят время, то она не хочет иметь с ними ничего общего; сама она предпочитала книги и музыку и жадно впитывала знания, которые мать полагала откровенно лишними для дочери, еще не достигшей тринадцати лет.

– Полюбуйтесь, – говорила она подругам, слегка поводя плечами, с тенью притворного отчаяния в глазах, – мои дети меня уже переросли. Это просто жуть какая-то. Я по их меркам слишком молода. Они считают меня легкомысленной вертихвосткой. Мастер Джордж шлет мне из своей школы нотации, точно дряхлый профессор, а Эллен благопристойно складывает ручки и интересуется: «А можно мне, мадам, кроме французского, изучать еще и итальянский?»

Все начинали хохотать над Эллен, и девочка вспыхивала от смущения; впрочем, про нее скоро опять забывали.

И все равно кататься по Парку и ездить в Ричмонд было приятно – вокруг столько всего интересного, столько всяких людей; по всей видимости, уже в десять-двенадцать лет Эллен увлекалась изучением человеческой природы.

Она была развита не по годам, поскольку почти никогда не бывала в обществе других детей. Джордж, ее единственный брат и ее идол, рано уехал в пансион и теперь так был занят своими товарищами, лошадьми (он учился верховой езде) и разговорами о будущей военной карьере, что младшую сестру выслушивал с плохо скрытым нетерпением.

Эллен оказалась предоставлена самой себе. Спутниками ее стали книги и ноты – когда у матери хватало денег оплачивать уроки музыки. Дочь должна понимать, внушала ей мама, что, если жить в такой эlegantной обстановке, с таким столом, да еще держать выезд, на всякие глупости, вроде уроков музыки и итальянского, ничего не остается.

– Хотя посмотрим, может, удастся это устроить, – говорила мама туманно, помахивая рукой, и улыбалась своей изумительной улыбкой, которая красноречиво свидетельствовала о том, что мысли ее заняты чем-то другим; потом она дергала колокольчик, призывая служанку, чтобы обсудить меню вечернего приема.

Какое это было великолепие – какое изобилие фруктов, сладостей и вина, какое сверкание посуды на столе, какие белоснежные накрахмаленные скатерти и салфетки! Казалось бы, можно и не тратить фунт-другой на лишнюю ветку винограда, глядишь, и на педагогов хватило бы. Но такова уж детская природа: Эллен воспринимала сложившийся порядок вещей как данность и под конец дня вслушивалась, сидя одна в своей комнате, в шум праздника внизу, в особый, какой-то попугайский звук, визгливый и надсадный, – так искажаются человеческие голоса, когда собираются вместе мужчины и женщины.

Таков был ее дом, и она была им довольна, потому что не знала иного, потому что этот показной блеск был вокруг всегда, сколько она могла упомнить. Сезон-другой в Веймуте и Брайтоне, потом Лондон – Парк-лейн, Глостер-плейс, Бедфорд-плейс, Вестбурн-плейс, череда особняков, один, другой, третий; блеск, развлечения, все напоказ. Мать то и дело появлялась с новым кольцом на безымянном пальце, довольная, как котенок, нашедший клубок, смеялась через плечо одетому в алый мундир офицеру со щенячьим лицом, который шел за ней следом, а его неповоротливый ум то и дело спотыкался, пытаясь угнаться за ее стремительной мыслью.

– Это моя дочурка, капитан Веннинг, моя маленькая Эллен, вон она какая серьезная и скромная, не то что ее ветреница-матушка!

Трель смеха – и мать уходила в гостиную, но прежде успевала подать дочке глазами сигнал, что та может бежать к себе наверх. Эллен, поджав губы, тихо поднималась по лестнице, ловила свое отражение в высоком зеркале и чуть медлила, разглядывая его и пытаясь осмыслить материнские слова.

Она силилась понять, действительно ли это так важно, что ты родилась некрасивой. Абрис ее лица был худым и угловатым, ничего похожего на круглые щеки и мягкий подбородок матери. Ее собственный подбородок заметно выпирал, а крупный нос нависал над узкими губами, добавляя к серьезности суровость, – вот уж воистину немецкий шелкунчик, говорила про себя девочка; она проводила пальцами по высокой переносице, думая про очаровательный вздернутый носик – одну из самых привлекательных материнских черт. Волосы и глаза у них

были одного цвета, мягкого, теплого, шоколадного, – но на этом сходство и заканчивалось; у девочки глаза были глубоко посаженные, тусклые, а курчавые волосы никак не хотели укладываться в локоны.

У матери же глаза менялись со сменой настроения. То они сверкали радостью, яркие и ясные, будто повернутый к свету ограненный кусочек янтаря, то затуманивались и увлажнялись и тогда делались еще привлекательнее, становясь очаровательно-незрячими, какие бывают только у близоруких.

Волосы ее, уложенные по последней моде, мягкими завитками обрамляли лоб: уши открыты, колонноподобная шея обнажена, белая, несокрытая, мягко переходящая в великолепные плечи. Рука Эллен скользнула от носа к бледным впалым щекам, а оттуда на ее собственные узкие сутулые плечи – настолько сутулые, что однажды служанка под горячую руку обозвала ее горбуньей. Девочка запомнила это, и сейчас воспоминание некстати мелькнуло в голове. Но она, передернув этими самыми непрезентабельными плечами, отвернулась от зеркала и пошла к себе в комнату; снизу, из гостиной, долетела стремительная, напористая речь ее матери...

Дни эти миновали. Уже почти год не было в доме никаких приемов. Не появлялись офицеры в ослепительных мундирах; даже лорд Фолкстон перебрался за границу, и, разумеется, его королевское высочество, который так часто бывал у них на Парк-лейн, тоже не показывался – уже года четыре. Эллен его почти забыла. В дом зачастили люди иного толка – торговцы; она сразу узнавала их: все одеты в черное, будто на воскресную службу, и когда мама отказывалась их принять, они грубо рявкали на слугу, будто в том была его вина.

Однажды у входной двери их собралась целая толпа, они протолкались внутрь и заставили маму впустить их к себе. У нее они пробыли недолго. Мама молча, словно бы недоверчиво покачивая головой, выслушала все их претензии, дала им выговориться, а потом, когда главный заводила, обойщик с Лэм-стрит (из дома неподалеку), наконец перевел дух, полагая, что она стала как шелковая, вылила на них ушат отборной площадной брани, весьма изобретательно подбирая слова; это привело обойщика и его спутников в такое смятение, что ответить им оказалось нечем.

Они тарасились на нее, открыв рот, и еще до того, как опомнились, она царственным жестом велела им удалиться и осталась победителем на поле брани – с пылающими щеками и блеском в глазах.

После этого потянулись долгие дни и недели неопределенности; мамы почти никогда не было дома, а если она и появлялась, времени на Эллен у нее не находилось; она ограничивалась торопливым объятием и словами: «Беги к слугам, дочурка; у меня ни минутки свободной» – и тут же запиралась с каким-нибудь странным посетителем; они часами беседовали в будуаре, тихий ручеек их голосов все журчал и журчал. В доме воцарилась тягостная атмосфера, которая ребенку, привыкшему к размеренному течению жизни, казалась зловещей и тревожной; девочке очень хотелось, чтобы ей все объяснили, но объяснений никто не давал. Если она забредала в кухню, слуги при ее приближении немедленно умолкали, а глупый лакей хихикал исподтишка, засовывая в карман штанов какую-то книжонку. Джордж на пасхальные каникулы остался в школе, домой не приехал. Эллен написала ему письмо, но ответа не получила. Девочку мучили страхи – вдруг брат заболел, вдруг они больше никогда не увидятся. Мать в ответ на ее настойчивые расспросы отделялась неопределенностями. Однажды утром, уже собираясь уходить, она увидела, что Эллен нависла над ней будто тень.

– Оставь это, дитя мое, – сказала она нетерпеливо, – не надо мне надоедать. Я тебе уже сто раз говорила, что с твоим братом все в порядке.

– Почему же он не приехал домой? – спросила Эллен и плотно сжала тонкие губы.

– Потому что сейчас ему лучше не приезжать, – последовал ответ.

– Но в чем причина всех этих перемен? Я уже достаточно взрослая, чтобы понять. Я не ребенок, не нужно утешать меня сказками. Слуги шушукаются по углам. На улице люди останавливаются и разглядывают наш дом. Вчера, когда я выглянула в окно, какие-то мальчишки бросили в меня камень. Вон, сама видишь, там рама треснула. Почему, когда я пошла погулять на площадь, меня преследовали, на меня показывали пальцами, точно на обезьяну в клетке, почему какой-то незнакомый джентльмен подмигнул своему приятелю, остановил меня на ступенях и сказал: «Так кто ваш отец, барышня, мусорщик или министр?»

В ее словах была неподдельная страсть – глаза сверкали, личико побледнело и напряглось.

Мать взглянула на нее в нерешительности – рука поигрывала лайковой перчаткой; вопросы, заданные двенадцатилетней девочкой, на миг лишили ее самообладания.

– Послушай, Эллен, – сказала она торопливо, – у твоей мамы есть враги; почему именно – не важно. Эти люди хотят, чтобы нас, как собак, вышвырнули на улицу без единого пенни. Им угодно, чтобы я приползла к ним вымаливать кусок хлеба, чтобы я скатилась в самый низ. Когда-то они не брезговали садиться за мой стол, но теперь дело другое. Мне придется сражаться с ними за наше будущее – твое, мое и Джорджа. У меня нет ни друзей, ни денег. Осталась одна смекалка. Она и раньше меня выручала, выручит и на сей раз. Что бы ни было дальше, сколько бы меня ни поливали грязью, запомни одно: я все это делаю ради тебя, ради вас с Джорджем, а прочие все пусть катятся в преисподнюю!

Она помедлила и вроде бы хотела добавить еще что-то; но, передумав, положила палец девочке на щеку, улыбнулась мимолетной улыбкой и исчезла, оставив в комнате легкий шлейф духов, который был ее неотъемлемой частью. На паркете валялся разорванный надвое листок бумаги. Видимо, она случайно его обронила. Эллен нагнулась поднять листок и положить в корзину для мусора. Она увидела, что это пасквиль – вульгарный, неряшливый; видимо, листками приторговывал какой-то газетчик. Мать разорвала его пополам, но Эллен смогла прочитать четыре последние строки, скалившиеся на нее в гнусной ухмылке:

Я миссис Кларк хотел воспеть в стихах,  
Но сбились рифмы – будет впредь наука!  
И перепутал я слова впотьмах,  
Переменив местами «Кларк» и «сука».

Девочка отшвырнула листок, чтобы не смотреть на эту мерзость, стремительно шагнула к двери, но увидела там лакея, его глупую, пустую физиономию, вернулась обратно, встала у корзины с бумажным мусором на колени, вытащила оттуда все содержимое и принялась рвать на мелкие клочья.

## 2

Целый год минул с тех пор, как Эллиен Кларк обнаружила пасквиль, порочивший ее мать. За истекшие двенадцать месяцев в руки ей попали и другие. Старые выпуски «Газетт», которые оставляли раскрытыми слуги, четким черным шрифтом раскрывали перед ней доселе неведомые тайны. Любящая и чуткая, она, наверное, бросилась бы защищать свою маму от мира, который поливал ее грязью, но она была всего лишь ребенком, беспомощным и смешным в своем порыве, запертым на верхнем этаже дома, будто птичка в клетке. Разразился громкий судебный процесс – так она поняла, – где мать ее выступала главным свидетелем обвинения против его королевского высочества герцога Йоркского, который еще несколько лет назад был их самым душевным другом. В чем именно его обвиняли, Эллиен не знала, однако после суда от матери все отвернулись. Доходя до ее ушей, непристойные сплетни оборачивались ядом. Ей было всего двенадцать лет, а она уже успела узнать обо всех низостях и подлостях мира. А кроме того, к ней постепенно пришло понимание, как они жили до того.

Намеки, случайные слова, памфлет, просунутый под дверь, бормотание служанок за ширмой, цепочки собственных ее отрывочных воспоминаний, уходящих в самое младенчество, складывались в целое, от которого не отмахнешься. Она вспомнила, что они никогда не жили подолгу в одном доме, что круг материнских друзей неизменно менялся со сменой жилья. В памяти всплывали обрывки полузабытых сцен. Она видела себя младенцем, едва научившимся ходить, а рядом – Джорджа, несколькими годами старше: как они вглядываются через решетку в грязь на мостовой Флэск-уок в Хампстед, как уезжают оттуда прямо посреди ночи в Уортинг, в гости к сэру Чарльзу Милнеру и сэру Чарльз дарит Джорджу щенка-спаниеля, а ей – фарфоровую куколку. Потом несколько пробелов в памяти, сэру Чарльз забыт, и вот они уже живут в огромном доме на Тависток-плейс, и к ним каждый день навещается джентльмен по имени дядя Гарри. Однажды мама, судя по всему, с ним повздорила, потому что Эллиен услышала, как он кричит на нее в гостиной; заглянув в дверную щель, девочка увидела маму, милую, безмятежную, – она слушала, подперев подбородок рукой, и зевала ему прямо в лицо, будто бы от скуки.

С Тависток-плейс они съехали неделю спустя и провели все лето в Брайтоне, где Эллиен и Джордж катались в повозке, запряженной двумя серыми пони. Следующую зиму они прожили в прекрасном доме на Парк-лейн, мама по четыре раза в неделю устраивала званые ужины. Эллиен помнила, как за руку с Джорджем спускалась в гостиную и заставляла там его высочество – он стоял на ковре перед камином. Ей он тогда казался великаном – огромное багрово-красное лицо, глаза навывкате; он наклонялся и забрасывал их себе на плечи.

– Итак, ты собираешься стать военным, да? – сказал он как-то Джорджу, потянув его за ухо. – Поедешь во Францию воевать с Бони?<sup>1</sup> Что ж, быть тебе военным!

Он расхохотался, повернувшись к маме, вытащил огромный носовой платок и соорудил для Эллиен зайца с ушами.

В последующие три года его высочество навещался к ним ежевечерне (когда был в городе), он лично выбрал для Джорджа школу и купил ему еще одного пони. Закрыв глаза, Эллиен представляла его себе как живого – как он вышагивает по дому, трубно призывая ее мать, покачивая выпуклым животом, большим и указательным пальцем засовывая табак в левую ноздрю крупного носа. И вот герцог впал в немилость – потому что мать Эллиен выступила против него на суде.

– Все, что я делаю, я делаю ради вас с Джорджем, – сказала она как-то.

---

<sup>1</sup> Презрительное прозвище Наполеона Бонапарта.

Чувствуя укол стыда за такое отношение к собственной матери, Эллен гадала: а есть ли хоть один человек, который действительно ее знает и может понять, что скрыто в этих переменчивых карих глазах? В ноябре того же года уличные мальчишки сожгли ее чучело вместо чучела Гая Фокса<sup>2</sup>. Через окно спальни Эллен было слышно, как они распевают на углу улицы:

Мэри-Энн посветит мне,  
Жарим шлюшку на огне!

Потом они еще долго бегали в ночном тумане с пылающими факелами и таскали туда-сюда крупную брюкву в кружевном чепце с розовой лентой, криво посаженную на палку.

И вот опять настала весна, скверные воспоминания вроде бы остались в прошлом, но бывшее течение жизни оказалось нарушено, возврата к прежнему никто и не мыслил. Прижавшись носом к стеклу, Эллен смотрела, как к дверям подъезжает карета и из нее выходят мама и мамин друг лорд Чичестер. Видимо, они приехали проследить, как идет продажа мебели. Девочке ужасно захотелось осмотреть, как поведет себя мать. Она снова прокралась вниз, в парадные комнаты, и обнаружила, что назойливые незнакомцы куда-то исчезли, полы и стены оголились, а в центре опустевшей комнаты стоят ее мама и лорд Чичестер, обсуждая цены с кислотицым клерком.

– Сто четыре гинеи за гарнитур из гостиной! – восклицала мама. – Да вы послушайте, эти стулья стоили пятьдесят фунтов каждый!

– Да, но вы же за них не платили, – сухо вставил его светлость.

– Это к делу не относится. Софа из моего будуара – сорок девять гиней... Возмутительно, им все достается по дешевке! Я за эту софу каких-нибудь четыре года назад отдала девяносто, а теперь они швыряют мне в лицо всего полсотни!

– Достойная цена за вещь в таком состоянии, мадам, – вмешался клерк. – Обшивка изношена и вся в пятнах, на ножке трещина.

– Да уж, софа потрудила на совесть, – пробормотал лорд Чичестер.

Она посмотрела на него, подперев щеку языком; ресницы подрагивали.

– За такие труды покупатель мог бы дать двойную цену, – сказала она. – Бокал вина, немного воображения, полусвет в комнате... Милый мой Чичестер, вот вы бы сами и купили эту софу! Она могла бы разжечь пламя, которое нынче в вас почти угасло.

– Мы все не молодеем, Мэри-Энн.

– Вот именно. Поэтому софа бы вам весьма пригодилась. Сто восемнадцать гиней за мои бокалы. Неплохо. Лучшие я все равно оставила себе. Пятьдесят фунтов за часы с серебряными колокольчиками! Как часто они возвращали меня к реальности – вот только всякий раз слишком поздно! Их мне как раз не жалко; своим боем они вечно лезли не в свое дело. Пять гиней за миниатюрный портрет герцога! Пять жалких монет, большего он и не стоит... Так, Эллен, а что это ты делаешь у дверей? Этот ребенок с каждым днем все больше становится похож на гнома.

– Сколько тебе лет, Эллен? – спросил лорд Чичестер.

– И восьми нет, – ответила мать.

– Двенадцать с половиной, – ответила девочка.

Его светлость рассмеялся.

– Собственную дочь не одурачишь, Мэри-Энн, – сказал он, вспоминая выражения, которыми она пользовалась на суде. «Мои крошки, – твердила она, – моя дочурка, едва вышедшая из колыбели...» Он вновь увидел жалостное подрагивание ее губ, слезы на ресницах, движение

---

<sup>2</sup> В ночь на 5 ноября в Великобритании празднуют годовщину провала Порохового заговора 1605 г. – попытки католиков-заговорщиков устроить взрыв в здании парламента во время тронной речи короля Якова I. В эту ночь по всей стране устраивают фейерверки и костры, на которых сжигают чучело самого известного из заговорщиков – английского дворянина Гая Фокса.

прелестных плеч, выражающее полную беспомощность. Какой замечательной актрисой была эта женщина и сколь начисто она была лишена порядочности! За деньги готова продать лучшего друга, да и собственную душу тоже; а вот детей не бросила. Впрочем, и лисица не бросит своих детенышей в норе... Будущее мальчика обеспечено – об этом она позаботилась; плату за его обучение будут исправно вносить, должность в пехотном полку оплачена наперед. Что касается девочки, после смерти матери она будет получать ежегодную ренту. Лорд Чичестер подумал, как она ею распорядится: с такими угловатыми чертами и сутулой спиной вряд ли она сможет пойти по стопам Мэри-Энн. Нет в ней пока никакого обаяния, нет материнской природной миловидности – бесстыдной, дразнящей, особенно притягательной в силу дурного воспитания.

Впрочем, Мэри-Энн, в своем дерзком бесстыдстве, с ее отношением к жизни как у уличного мальчишки, мошенника и пройдохи, совсем неплохо устроилась после расставания с герцогом, хотя и прикидывается нищей. Уж Фолкстон о ней позаботился. Да в придачу выплатил ее долги. В этом, кстати, и состояла главная ее беда: деньги так и утекали сквозь пальцы. Придется ей подсократить расходы, если она рассчитывает прожить на герцогские отступные. Для нее тысяча фунтов – ничтожная сумма.

Он прошел вслед за нею в опустошенный будуар – на стенах темные пятна в тех местах, где висели картины. Комната выглядела угрюмой, неприбранной; коробки, в которые она начала упаковывать вещи, штабелями стояли на полу. На одноногой табуретке притулился ларчик с драгоценностями, наполовину прикрытый вышитой шалью, тут и там валялись бусинки, осыпавшиеся с шелковинки, книга-другая, миниатюра, листок с нотами; а посреди всего этого пыхла – жирную складчатую шею обвивал золотой ошейник – нелепая болонка, напоминающая перекормленную игрушку, которая затыкала, плюясь, при их приближении. В комнате пахло псиной и застоявшимися духами. Окна были плотно закрыты. Лорд Чичестер приподнял бровь и поднес к носу батистовый платок. Комната выдала свою владелицу с головой, и, сухо улыбнувшись, он невольно представил себе, из какого убожества она выбилась в люди: неуютные съемные квартиры ее юности, неряшество и грязь; вечно неубранные постели; на немой тарелке недоеденный завтрак, а с улицы доносятся визгливые вопли пьяного отца. Он увидел, какова Мэри-Энн была в свои двенадцать лет – столько вот сейчас этому микробу – пышногрудая, бесстыдная, кудрявая, не по годам развязная. Красногубая, сметливая, она искоса следила за мужчинами, подмечая их глупость; всецело осознавая свой нагловатый шарм, она с расчетливым безрассудством ступила на жизненный путь, который сама себе выбрала.

Теперь об этих ранних годах из нее и слова не вытянешь. Кажется, она была актрисой и проституткой; а еще – женой: в семнадцать вышла за какого-то несчастного лавочника из Хокстона (такие, по крайней мере, ходили слухи); но в нынешнем своем положении отставной любовницы герцога Йоркского она предпочитала не заглядывать в собственное прошлое.

Лорд Чичестер снова улыбнулся, припомнив ее острый язычок, – такая за словом в карман не полезет; на процессе весь зал покотился со смеху, когда она отбрила многомудрого судью. Пока она поигрывала драгоценностями в собственном будуаре и ласкала раскормленную собачонку, лорд Чичестер, сузив глаза, вновь вызвал в памяти ее образ на свидетельском месте – видение в шелковом синем платье: она оделась будто для званого вечера, на голове белая вуалетка, пальчики небрежно теребят горностаевую муфту. Он вновь следил за смиренным выражением ее лица, с таким к нему неподходящим вздернутым носиком, голова чуть наклонена набок; судья подался к ней с видом высокомерной снисходительности, чуть помедлил, бросил взгляд на зрителей, будто желая предупредить, что сейчас она от его слов станет вертеться как уж на сковороде, и произнес:

– А под чьим покровительством находитесь вы ныне, миссис Кларк?

Ответ прозвучал мгновенно, подобный выпадку рапиры:

– Мне представлялось, что под вашим, ваша честь.

По залу пробежал смешок, перекинувшийся в откровенный смех, когда лицо его чести побагровело, и, пока он глупо елозил пером и перебирал бумаги, она стояла и дожидалась следующего вопроса, спокойная, безмятежная, лишь кончик языка мелькнул между зубами!

Да уж, недюжинное нужно остроумие, чтобы взять верх над Мэри-Энн! Как всякая женщина, она обладала низким коварством и всеми мыслимыми низменными свойствами. Алчная, корыстолюбивая безбожница, да еще и лгунья, она шла от одного дешевого триумфа к другому, пользуясь любовниками ради достижения благополучия, и все же... все же... Лорд Чичестер глянул на нее снова: белая шея, линия подбородка, пухлый, слегка капризный рот – он пожал плечами и все ей простил.

– Каковы ваши планы? – поинтересовался он отрывисто.

Она обратила на него затуманенный, безмятежный взгляд, теребя браслет на запястье.

– Планы? – откликнулась она. – Я никогда ничего не планирую дальше чем на завтра. Разве вы видели, чтобы я когда-то жила по-другому? Я решила последовать вашему совету и покинуть страну. Завтра мы с Эллен уезжаем во Францию. А потом – кто знает? Что будет, то будет.

Девочка, внимательно наблюдавшая за матерью, ухватилась за эти слова:

– Мы уезжаем из Англии?

Мать изобразила прилив чувств и, притянув дочку к себе, осыпала ее поцелуями.

– Бедная моя крошка, нас гонят с родины. Придется нам скитаться в чужой земле одинокими и неприкаянными. Будем кочевать из страны в страну, выискивая, где бы приклонить усталые головы, и некому будет...

– С тысячей фунтов в банке, не считая заначки от Фолкстона, плюс ваши драгоценности и посуда, – прервал лорд Чичестер, – вы будете жить по-королевски, если не пристраститесь к азартным играм. Вы ведь не забыли условия договора?

– А вы думаете, забыла?

– Вы способны на любую выходку, Мэри-Энн, если сочтете, что она в ваших интересах. Дайте сюда договор, я зачитаю вам его еще раз.

– Тогда пусть Эллен выйдет из комнаты.

– Ничего подобного. Пускай Эллен останется. Речь идет и о ее будущем.

Мать безразлично пожалала плечами, поднялась и подошла к одной из коробок в углу комнаты; пошарив там, она вернулась с листом пергамента.

Лорд Чичестер взял его у нее.

– Надеюсь, вы понимаете, – сказал он, – что это всего лишь копия. Оригинал хранится у герцога.

Она кивнула и лукаво посмотрела на него, подперев языком щеку.

Он нахмурился – легкомыслие представлялось ему в данном случае неуместным – и начал читать:

*В соответствии с достигнутыми договоренностями я, Мэри-Энн Кларк, обязуюсь вернуть все находящиеся в моем распоряжении или у меня на хранении письма, бумаги, записки и записи, имеющие касательство к герцогу Йоркскому или иным членам королевской фамилии, в особенности – все письма и документы личного свойства, написанные или подписанные герцогом. Я также обязуюсь истребовать все документы, находящиеся по моему поручению на хранении у других лиц, и передать их уполномоченному другу герцога.*

*Кроме того, я обязуюсь, если потребуется, подтвердить под присягой, что я вернула все письма и иные письменные документы, написанные герцогом на мое имя, и что о существовании иных мне неизвестно. Я обязуюсь не обнародовать, в печатной либо письменной форме, какие-либо документы,*

*имеющие касательство до наших отношений с герцогом, равно как и никакие истории, в письменной или устной форме сообщенные мне герцогом. Я даю согласие на то, что в случае нарушения мною отдельных пунктов данного соглашения я буду лишена ежегодной ренты, подлежащей выплате мне пожизненно, а после моей смерти – моей дочери. Письма будут мною возвращены, что же касается личных документов, равно как и снятых с них копий, они будут сожжены в присутствии особо назначенного для этого лица. Кроме того, обязуюсь не хранить списков или списков со списков с писем или личных документов герцога Йоркского. Составлено первого апреля 1809 года.  
(Подпись) Мэри-Энн Кларк*

– Видишь, милая моя Эллен, – продолжал лорд Чичестер, складывая документ и возвращая его матери, – будущее твое полностью зависит от того, сдержит ли твоя мама данное ею обещание. Ты это понимаешь?

Девочка серьезно кивнула. Губы ее были плотно сомкнуты, глаза холодны. Она казалась утомленной и зрелой не по годам.

– Но если мама поссорилась с герцогом, почему он хочет платить нам деньги? – спросила она. – Какое ему до нас дело? И почему он платит за обучение Джорджа? Даже одно это – великая щедрость с его стороны.

Лорд Чичестер взгляделся в нее; слабая улыбка играла на его губах. И тут в голове у него закопошился коварный чертенок.

– Пойди посмотри на себя в зеркало, – распорядился он.

Девочка повиновалась безропотно, понукаемая любопытством; подойдя к единственному непроданному, треснувшему зеркалу, она внимательно осмотрела свою фигуру.

– Сходство видишь? – поинтересовался лорд Чичестер, слегка подмигнув ее матери.

Эллен еще раз взгляделась в свои высокие скулы, длинный, похожий на клюв нос, твердую складку тонких губ – и внезапно ее озарила догадка. В первый момент она обмерла в растерянности и недоумении, а потом в еще незрелом детском мозгу вспыхнула искорка возбуждения. На миг ее унесло в мир фантазий, в голове завихрилось то, о чем она читала в исторических книгах. Процессия, состоявшая из английских королей и королев, прошествовала мимо, блистая золотом и серебром.

После этого девочка распрямила сутулую спину, вздернула острый подбородок и без единого слова гордо покинула комнату.

Лорд Чичестер постучал по табакерке и вздохнул.

– Какой я негодник! – проговорил он. – Она теперь до конца жизни будет считать, что в жилах ее течет королевская кровь, и это отравит ей существование. Хуже того, яд этот не выветрится еще три-четыре поколения... Ты видела выражение ее глаз? Ого! Гордыня – один из худших людских грехов! В кои-то веки удовлетвори мое любопытство. Кто был ее отцом?

Мэри-Энн демонстративно зевнула, подняла руки и запустила их в густые каштановые кудри. В этот момент она была сама невинность – ребенок, встрепанный со сна. Потом она наморщила носик и рассмеялась – мягким, задушевым, довольно вульгарным смехом, заразительным и неотразимым, поскольку он был органической ее частью.

– В Брайтоне столько народу, – пробормотала она, – а у меня такая скверная память на лица.

### 3

Па морских волнах в Дувре плясали белые барашки, и пакетбот, стоявший у пристани, немилосердно качало. Немногочисленные пассажиры сбились в кучку на пристани, до последнего оттягивая расставание. Английские меловые утесы нерушимо высились на фоне грозного серого неба. Чайки со сварливыми воплями прыдали на гладкую воду в гавани. Во влажном воздухе уже витал запах рыбы и испорченной пищи, а еще – невыразимый запах судна, смоляной и кисловатый, мучительный для тех, кто поднимается на борт помимо своей воли.

За пределами гавани пьяновато вздымались зеленые воды Ла-Манша, волны нагоняли друг друга и без всякого лада обрушивались к далекому горизонту. Даже самые уверенные в себе путешественники знали, что их ждет, когда судно отвалит от причала и присядет перед морем в первом реверансе. Оно ненадолго взмоет вверх – неспешно и с достоинством, – на миг замрет на гребне волны, а потом повалится вниз, криво, неловко, содрогнется от носа до кормы, застонет и захрипит, точно одышливая старуха. Все обменивались прощальными словами, пожимали руки, выкрикивали последние наставления в глухие уши.

Эллин, в лучшей своей пелеринке и капоре с меховой опушкой, прислонилась к ограждению и следила за неразберихой на нижней палубе. Пассажиры победнее толклись, точно скот в загоне, в безуспешных попытках расчистить себе немного пространства. Некоторые уже смирились с неизбежным, их притиснули к фальшборту, и они стояли, прижав к губам платки, устремив рассеянный взгляд, полный невнятного отчаяния, на бурное море. Дети плакали, женщины пытались истерическими окриками их унять, одновременно запихивая фрукты и пирожные в сопротивляющиеся ротки. Мужчины орал без всякой причины, терялся багаж, и вся эта суета и перебранка только усиливала ощущение хаоса. На той палубе, где стояла Эллен, было относительно тихо, немногочисленные пассажиры побогаче сидели, закутавшись в муфты и пледы и держа под рукой книгу или флакон с нюхательными солями – в зависимости от крепости их желудка.

Мать Эллен, с обычной ее расторопностью, умудрилась улыбками или подачками заполучить в свое распоряжение небольшую каюту, которую уже успела завалить поклажей – накидками, мехами, саквояжами и сундуками; среди всего этого затесалась и ее болонка, аккуратно причесанная и надушенная; из пасти ее капала слюна.

Фладгейт, стряпчий, приехавший с ними из Лондона, чтобы проследить за посадкой, окинул ее багаж недовольным взглядом. Путешествовать с таким скарбом – значит входить в лишние расходы, в будущем это не сулит ничего хорошего. Ему с первого взгляда стало ясно, что клиентка его совершенно не намерена жить по средствам. Он в последний раз обратился к ней с назидательной речью о том, сколь необходимы осмотрительность, экономия, – слова свои он подкреплял цифрами; Мэри-Энн терпеливо слушала, на губах ее играла улыбка, а взгляд все обращался стряпчому за плечо, на одного из пассажиров, который стоял поблизости, – невозмутимый, сознающий, что на него смотрят; его шляпа с загнутыми полями была надвинута на глаза.

Выглядела Мэри-Энн очаровательно: разнаряженная до нелепости, румяна на щеках точно того же тона, что и атласная лента на накидке и крашеное изогнутое перо, воткнутое в капор.

Как разительно она отличается от бедно, практично одетой француженки на нижней палубе, подумала Эллен, какое у той осунувшееся, морщинистое лицо и натруженные руки: черное суконное платье, серая шерстяная шаль. Женщина эта, с целым выводком детей, наконец-то расчистила себе местечко в углу палубы и, посадив маленького мальчика и его ревущую сестренку на колени к девочке постарше, обернулась со слезами на глазах к старшему сыну – он оставался в Англии. До Эллен долетели обрывки французских слов: сын оставался

в Англии, обещал как можно чаще писать о своем здоровье и успехах, а мать – по всей видимости, одинокая вдова – возвращалась во Францию, где его будет ждать дом. Увидев ее слезы, юноша тоже утратил свой бравый вид и, хотя и был человеком взрослым – лет восемнадцати, не меньше, – что-то забормотал, повесил голову, всхлипывая как маленький: «Maman, maman», и потянулся к ней. Наблюдая за ними, Эллен почувствовала укол сострадания к их горю и одновременно – прилив зависти, вызванный их взаимной приязнью; ведь мальчик этот был в маминых объятиях, а Джордж – в школе, беспечный и безразличный: он всего лишь прислал краткую прощальную записку, которую Мэри-Энн в припадке материнских чувств покрывала поцелуями, прежде чем отложить в сторонку.

– Когда мы устроимся, ты к нам сразу приедешь, Роберт, – сказала женщина; такие же слова и ее мать должна была сказать Джорджу, но не сказала, подумала Эллен; да, у нее не было здесь ни братьев, ни сестер, поэтому она задержалась у ограждения, переживая за этих французов на нижней палубе. Женщина же улыбнулась сквозь слезы, расправила шаль.

– Мы возвращаемся домой, Роберт, ты должен это помнить. Возвращаемся девятнадцать лет спустя. Домой, на родину. К своей родне.

В ответ на это юноша жалко улыбнулся и раскинул руки:

– Это твой дом, тапан, не наш. С чего наш-то, мы ведь его никогда не видели.

Женщина потрясла головой, упрямо сжав губы в тонкую линию:

– Приедешь – и сразу поймешь. Мы легко и естественно опять станем французами. Кровь не обманешь, Роберт. Уж я знаю, о чем говорю. Слишком долго я жила на чужбине. А это – отравка.

Она еще раз поцеловала сына, а потом оттолкнула; он отвернулся, кривя губы. Потянулся к братьям и сестрам, лепеча последние наставления, которые не выразишь словами:

– До встречи, Жак. Ты теперь старший. Давай приглядывай за ними. – Это брату, моложе его примерно на год, бледному, взбудораженному, – он косился через плечо на беспокойное море; казалось, хрупкие мальчишеские плечи не вынесут такой груз. – Луиза, сестричка, ты ведь будешь мне часто писать? Очень часто?

И девочка дала обещание, обвив его шею руками; ее длинные белокурые волосы заструились по его щеке.

Какое милое, нежное лицо, подумала Эллен, какая славная, ласковая девочка, явно никогда ни на кого не сердится. А потом Роберт склонился к малышам у нее на коленях:

– Веди себя хорошо, Гийом. Не забывай читать молитвы, Аделаида.

В ответ маленькие дружно заревели, размазывая слезы кулачками, и расстроили брата так, что он понял: нужно незаметно уходить, возвращаться на причал.

– А где же Луи-Матюрен? Куда он исчез? – вдруг воскликнула мать с панической нотой в голосе, и тут же последовал переполох, неразбериха, все глаза начали стрелять туда и сюда, и, покрывая голос матери, раздался резкий, всполошенный голос девочки, Луизы:

– Луи-Матюрен, да где же ты?

Эллен перегнулась ниже через ограждение, не меньше родных переживая за пропавшего ребенка. И тут за спиной у нее раздался тихий смешок – тот особый смешок, который издавала мать в минуты удовлетворения; обернувшись, Эллен увидела, что та стоит рядом с высоким, одетым в черное незнакомцем и на губах у нее играет легкая улыбка.

– С чего тебе понадобилось наблюдать за этими простолюдниками, Эллен? Не прислоняйся к грязному ограждению, наберешь блох в пелерину. Подойди и поздоровайся с джентльменом, который любезно пригласил нас отужинать с ним.

Незнакомец склонился к девочке, погладил ее по голове унизанной перстнями рукой.

– Как поживаете, юная барышня?

Эллен хмуро посмотрела на него, а потом, отвернувшись, схватила мать за рукав:

– Бедная французская семья – смотри, у них мальчик потерялся! Может, упал за борт.

Незнакомец рассмеялся и встал с ней рядом у ограждения:

– На нижней палубе всегда неразбериха, а теперь, когда эмигранты потянулись домой, и подавно. Их этой зимой целые толпы месяц за месяцем перебираются на родину в надежде вернуть хоть что-то из утраченной собственности. Та женщина внизу, судя по выговору, бретонка. Посмотри, какое у нее плоское лицо и каштановые волосы. Все они на один покров.

– А вы, сэ, из какой части Франции родом?

Голос Мэри-Энн звучал игриво, и в нем чувствовался легкий вызов.

Незнакомец с улыбкой глянул на нее сверху вниз.

– Я с юга, – проговорил он вполголоса, – а на юге чувства сильны и горячи, там и женщины, и мужчины знают толк в удовольствиях.

Эллен нетерпеливо отвернулась и вернулась к ограждению. Все друзья ее матери были *на один покров* — ломачи и лицемеры; в разговорах они вечно подсмеивались над всем и вся. Бедное семейство с нижней палубы не могло рассчитывать на их участие.

И тут вдруг она увидела его, потерявшегося мальчика, которого искали родные: рискуя упасть, он стоял на палубном ограждении, свесив одну ногу, уцепившись правой рукой за канат. Он был ей почти ровесник, ростом едва ли выше: круглое личико, курносый нос, кудрявые каштановые волосы. Лицо он поднял к небу, светлые голубые глаза следили за пролетающей чайкой. Он раскачивался между морем и небом, не обращая внимания на кишевших внизу людей, и что-то пел; мальчишеский голос, чистый и красивый, беспрепятственно взмывал в небо, напоминая полет птицы, за которой следил мальчик.

– Луи, немедленно слезай, ты упадешь! – позвала его мать, но он продолжал раскачиваться на одной ноге, скользя взглядом по ветреному небу, полностью отдавшись песне.

Эллен следила за ним с восхищением, и даже мать ее прекратила на миг любезничать с незнакомцем и вслушалась; ротик ее искривила улыбка.

– Мальчик поет как ангел... – сказала она.

И тут он вдруг смолк, поняв, что все на него смотрят, вспыхнул и соскользнул на палубу. Чары исчезли. Он оказался обыкновенным курносым мальчишкой с озорными голубыми глазами.

– Идем, Эллен, – позвала мать. – Пора спускаться к обеду. Пусть эмигранты сами жуют свой хлеб с сыром.

Судно сильно качало на коротких волнах пролива, с брызгами мешались секущие струи дождя, немилосердно впиваясь в озябшие руки и ноги.

Ужин не слишком удался. Лица становились все бледнее, болтовня стихла, и даже смуглый незнакомец, галантно предложивший им вина, примолк ненадолго, осушив бокал. Улыбка его сделалась натянутой, он мучительно кашлянул. Кончилось тем, что он исчез, пробормотав какое-то извинение. Мэри-Энн сморщила нос и расхохоталась. На нее качка никак не действовала. Она с аппетитом ела бифштекс, заливая кровью тарелку; отхватив кусочек пожирнее, она кинула его собачке, которая, облизнувшись, заглотила угощение целиком. Эллен металась на койке, подтянув колени к подбородку, и воображала себе свою несчастную покинутую спаленку в Вестбурн-плейс. Отужинав, Мэри-Энн завернулась в плащ и вышла на палубу. Дождь и ветер добрались до кудрей, выбившихся из-под капора, раскидали их по ее лицу. Она подошла к ограждению, туда, где до ужина стояла ее дочь, и посмотрела на эмигрантов.

Французское семейство терзала морская болезнь. Сложив руки в молитве, женщина раскачивалась вместе с палубой, пропустив четки между пальцев. Время от времени, когда судно взмывало особенно высоко и обрушивалось обратно, она издавала стон.

Белокурая дочка держала на коленях малышей, а долговязый Жак ничком лежал на палубе. Даже певучий ангел утратил свой голос и смотрел в волны с выражением муки в светлых глазах.

– Вот бедняга, – рассмеялась Мэри-Энн, – ты и понятия не имел, что Англию и Францию разделяет такая бездна.

Она открыла кошелек и бросила ему на палубу монетку.

Мальчик уставился на нее в изумлении, а когда она улыбнулась и кивнула, указывая на монету, зарделся от гордости и смущения и отвернулся. Мэри-Энн рассмеялась снова и хотела было крикнуть ему, но тут над головой у нее раздался голос матроса, и она устремила глаза вперед – там, вдалеке, за мачтами их судна, завиднелась темная полоска французского берега.

Мальчик следил за ней, прикрыв глаза рукой, а когда понял, что она о нем забыла и смотрит на горизонт, воровато оглянулся на свое истерзанное семейство и, поняв, что никто не увидит, молниеносно выбросил вперед руку и опустил монету в карман. После этого он снова откинулся назад и притворился спящим, а его сестра, уловившая его стремительное движение, заботливо нагнулась над ним и провела рукой по каштановым кудрям.

Мэри-Энн тихо напевала песенку, постукивая до смешного маленькой ножкой по палубе. Она думала о том, что кочевая жизнь позади и теперь ей наконец по средствам жить ради своего удовольствия, а не ради удовольствия мужчин. Последние годы были совершенно невыносимыми, положение отставной любовницы оказалось крайне мучительно. Пасть ниже было попросту невозможно. Восхищение, лесть, радушный прием в каждом доме, окружение слуг и друзей, неоспоримая власть, а потом – презрение, остракизм, откровенные издевательства, оскорбления простолюдинов, назойливость лавочников, пренебрежение со стороны тех самых друзей, которые когда-то целовали ей руки... нет, такое невозможно простить. И она не простит – до самой смерти. Она уже причинила ему достаточно неприятностей, станет причинять и дальше. Как же он теперь ей омерзителен, с его красными пятнами на лице, с раздутым брюхом, с багровым носом-картофелиной! Как она презирает его, и его братьев, и всю их семейку; их грубые речи, низменные привычки, саму манеру есть, пить, спать...

Боже правый, сколько же она всего вынесла! Но теперь все в прошлом, все позади, а впереди – новая страна, новый мир, который предстоит заново открывать.

Уж теперь-то она поживет вольготно и в свое удовольствие – впервые в жизни. Самое основное у нее есть: рента для нее и для Эллен, место в полку для Джорджа. Все долги оплачены, мебель распродана. Соглашение составлено, подписано, засвидетельствовано. «Кокс и Гринвуд» будут вести ее дела. Чичестер был с ней рядом до самого конца.

Но несмотря на все это, она по-прежнему слышала зов охотничьего рожка. Она улыбнулась, погладила опушку муфты. Да, они здесь, укрытые надежно и хитроумно; подумать только, как незаметно можно припрятать такую пухлую связку. И до чего же откровенно их содержание, какой ущерб оно способно нанести репутации автора! Она погладила их, приласкала сквозь подкладку муфты; она знала назубок цвет тонированной бумаги, герб на конверте, уродский размашистый почерк. Вот он, ее дополнительный доход на случай, если таковой понадобится, – дюжина писем герцога Йоркского, которые, благодаря счастливой случайности, избежали гибели в равнодушном пламени.

## Часть вторая

### 4

Учебный пансион на улице Нев-Сент-Этьен был мрачным безликим зданием, затиснутым между старыми домишками, когда-то веселенькими, а теперь облупившимися; владельцы их бежали во время революции, да так и не вернулись.

Когда-то в «салонах» звенел смех, а по коридорам разносились музыка и пение, шуршание шелковых юбок и радостный перестук высоких каблучков; сильно за полночь мальчишки-факельщики мчались по мощеной улице, освещая дорогу мадам графине, которая возвращалась домой. Да, тогда здесь царила радость, пока не грянула буря; здесь звенели виола и спинет, здесь не смолкали комплименты – очаровательные, пусть и неискренние, и жужжание разговоров обо всем и ни о чем; здесь царила интригующая атмосфера пудры, мушек и масок, здесь хихикали, зажав рот ладошкой.

Пузырь этот лопнул с началом революции, наносное поверхностное изящество исчезло как не бывало; даже стены старых домов потемнели от подозрительности, провалы окон были темны, будто за каждым таился шпион: ухо прижато к стене, сам боится собственной тени.

На домах этих лежало клеймо, а по улице тянулся кровавый след – след мук и страданий тех лет, когда холодное, ополоумевшее дыхание Трора коснулось камней этих зданий, заледенив несчастных перепуганных призраков, которые там блуждали.

Когда барабаны возвестили пришествие Наполеона, а флаги превратились в знамена, летящие по ветру, в домах началось шевеление, они вроде как пробудились вновь; открылось окно, дабыпустить внутрь звуки, новый сквозняк, принесенный новым ветром, ворвался в коридоры. Однако вскоре выяснилось, что то была ложная надежда, и дома вновь погрузились в запустение. Былому веселью не нашлось пути назад; восемнадцатое столетие минуло невзвратно. Бурбоны, пришедшие на смену императору, оказались марионетками с кукольными коронами на голове, и было нечто смехотворное, почти постыдное в их попытке вновь раздуть поруганное пламя, воскресить мертвых, втиснуть улады Трианона и красу Версаля в безликий буржуазный быт восемьсот двадцатых годов. На нынешнем празднике это звучало фальшью, вынуждая гостей помимо собственного желания разыгрывать шарады. Костюмы устарели и поизносились, не осталось ни таланта, ни азарта, никому не хотелось играть.

В итоге дома на улице Сент-Этьен так и стояли обшарпанные и покинутые, в некоторых открыли конторы, другие снесли, в одном расположился склад, а в номере восемь обосновался учебный пансион, за деятельностью которого с успехом надзирала мадам Пусар.

Здесь дочери новых столпов общества осваивали немецкий, итальянский и английский, рисовали акварелью, вышивали шелком, лупили или постукивали по фортепьяно – в зависимости от ловкости пальцев, – а уединившись в дортуарах, хихикали и перешептывались, как это принято у девочек.

Мадам директриса обрадовалась, когда заручилась согласием мадемуазель Луизы Бюссон-Дюморье занять место преподавательницы английского языка. Мадемуазель Дюморье знала язык в совершенстве, поскольку детские годы провела в Лондоне. Во Францию она возвратилась в возрасте пятнадцати лет, и хотя, как и все бывшие эмигранты, она отличалась некоторой гордыней и склонна была причислять себя к исчезнувшей аристократии, все это было не так уж важно; такое можно простить. Ведь мадемуазель была такой ласковой, такой покладистой, ученицы ее просто обожали. А кроме того, у нее было отточенное чувство приличий, как и подобает гувернантке; помимо прочего, она была глубоко религиозна.

– Будь этот путь для меня открыт, мадам, – объяснила она директорисе, впервые придя в пансион, – я бы приняла монашеский обет в монастыре Сакре-Кёр. Я знаю, что только в служении Господу нашему можно обрести истинное счастье. Возможно, с годами мне удастся осуществить свою мечту. Пока же я вынуждена зарабатывать на жизнь и помогать близким. Должна признаться, что воспитывали меня не для работы, я никогда не думала, что обстоятельства вынудят меня к этому.

– Не могли бы вы обрисовать свои жизненные обстоятельства, мадемуазель?

Мадемуазель Бюссон-Дюморье (аристократическая фамилия Дюморье, вернее, дю Морье, звучит довольно нелепо в наши дни, когда владение поместьями не имеет решительно никакого значения, подумала директориса) вздохнула и покачала головой.

– Возвращение во Францию стало для нас большим разочарованием, – призналась девушка. – Отец ожидал, что нам окажут куда более существенную помощь. Стекольная фабрика, которую основал мой дед, была разрушена, замок наш лежал в руинах. Никто не желал с нами видеться, нас попросту никто не помнил. Это разбило отцу сердце.

– Двадцать лет в изгнании – немалый срок, мадемуазель, – напомнила директориса холодно.

Ее муж когда-то был комиссаром в Сен-Дени, сама она в душе так и осталась яркой республиканкой. Она не испытывала никаких симпатий к вернувшимся эмигрантам, которые бежали из страны в момент опасности, а теперь ожидали, что их встретят с распростертыми объятиями.

– Итак, вы не получили никакого возмещения? – осведомилась она.

Преподавательница английского протянула ей лист пергамента.

– Только это, – произнесла она горько, – причем ожидалось, что мы примем его с благодарной улыбкой. Нас шестеро, мадам Пусар, помимо матери, и это все, что у нас осталось за душой после смерти отца.

Директриса взяла листок и прочитала:

*J'ai l'honneur de vous prévenir, mademoiselle, que le Roi, vous lant vous donner une prevue de sa biemveillance et récompenser en vous le dévouement et les service de votre famille, a daigné vous accorder une pension annuelle de deux cents francs. Cette pension, qui courra du premier janvier mil huit cent seize, sera payée au Trésor de la liste civile (aux Tuileries), de trois mois en trois mois, après que la présente lettre y aura été enrigistrée, sur la présentation de votre certifi cat de vie.*

*J'ai l'honneur d'être, mademoiselle, votre très humble et très obeissant serviteur,  
Le Directeur-général, ayant le Porte-feuille, Compte de Pradely  
Paris, le 10 mai, 1816<sup>3</sup>*

– Двести франков – это как-никак двести франков, – произнесла директориса, возвращая письмо. – Лучше, чем оставить голову на гильотине. Вижу я, вы, эмигранты, вполне неплохо устроились.

Мадемуазель Бюссон промолчала. Она думала про отца, который уехал в Англию в изгнание, оставив свое сердце в Сарте, вернулся наконец в родной дом и выяснил, что тот разрушен до основания; с тех пор он дрожал над каждым франком, чтобы прокормить семью, и наконец, надорвавшись, скончался в Туре, где служил учителем.

– А чем занимаются остальные члены вашей семьи?

---

<sup>3</sup> Имею честь сообщить Вам, мадемуазель, что, дабы продемонстрировать Вам свое благоволение, возместить Вам Ваши утраты и вознаградить Вашу семью за преданность, Его Величество соизволил предоставить вам ежегодную пенсию в размере двухсот франков. Пенсия будет выплачиваться с первого января тысяча восемьсот шестнадцатого года из средств Цивильного листа (в Тюильри) раз в три месяца, после ре гистрации данного письма и по предъявлении удостоверения личности. Остаюсь, мадемуазель, вашим смиренным и преданным слугой, старший распорядитель и делопроизводитель граф де ПраделиПариж, 10 мая 1816 г. (фр.).

– Старший брат Роберт живет в Лондоне, мадам, служит клерком в Сити. Жак работает в банке в Гамбурге. Двое младших живут здесь, в Париже, вместе с матерью, на улице Люн; именно ради них я и хочу преподавать английский у вас в пансионе.

– А шестой? Вы не упомянули еще одного брата.

По лицу учительницы английского пробежала тень.

– Да, у меня есть еще один брат. Луи-Матюрен. Увы, он пошел наперекор воле семьи и сейчас учится на оперного певца.

– Кто знает, быть может, он заработает много денег.

– Сомневаюсь, мадам. Он безалаберный, ветреный, вечно в долгах. Как вы понимаете, нам, его родным, крайне тягостно видеть, что он попусту тратит время на столь бесполезное занятие. Он сделал невозможный выбор... Бюссон-Дюморье зарабатывает на жизнь пением...

Мадам директриса задумчиво взглянула на молоденькую учительницу. Месье Пере уже стар и стремительно глохнет. Она давно поняла, что в ближайшее время придется искать ему замену. Вот если бы еще переманить к себе и брата этой учительницы... по несколько франков за урок; ему наверняка деньги будут кстати. Да и для себя она на этом кое-что выгадает.

– Понимаю, как тяжело вам смириться с мыслью, что брат ваш пойдет на сцену, – сказала она сочувственно. – Если я составила себе правильное представление о том, как вас воспитывали, да еще учитывая, что вы ревностная католичка, вам тяжело будет вынести такой позор. Однако в преподавании нет ничего зазорного, – полагаю, вы и сами это знаете. Если бы вы сообщили своему брату, что я ищу учителя пения, – оплата, разумеется, невысока...

Мадемуазель Бюссон густо покраснела.

– Вы чрезвычайно добры, мадам, – сказала она. – Когда я в следующий раз увижу Луи, я передам ему ваши слова. Но я не вполне уверена... он слишком независим.

Директриса пожалала плечами:

– Разумеется, ему выбирать. Учителей сотни, и я могу пригласить любого. Я всего лишь пытаюсь сделать вам одолжение. Всего хорошего, мадемуазель. Надеюсь, вы оцените благонравие своих учениц.

И она отпустила учительницу одним мановением руки.

«Печально, – размышляла мадемуазель Луиза, раскрывая учебник английской грамматики на девятой странице и глядя на ряды сияющих личиков, – что я вынуждена служить учительницей, чтобы не умереть с голоду на улице, тогда как другие женщины, равные мне по положению и рождению, живут в праздности в собственных замках и готовятся выйти замуж за герцога или маркиза. А Луи-Матюрен, которому полагалось бы руководить собственной стекольной фабрикой, скатился до того, что размалевывает лицо и продает свой талант за горстку монет. Нужно научиться смирению; нужно усмирить свою гордыню. *Père, pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font*»<sup>4</sup>.

– Откройте, пожалуйста, учебники, барышни. *Je ferme la porte – I shut the door. Tu fermes la porte – thou shuttest the door*<sup>5</sup>. Она произносила слова четко, правильно, старательно двигая тонкими, еще полудетскими губами; светлые волосы были собраны в строгий узел на затылке. Мадемуазель Бюссон, чье наследство свелось к двумстам франкам да пыльному графину, когда-то выдутому на канувшей в Лету дедовской фабрике, вступила на учительское поприще.

Она преуспела – не потому, что так уж хорошо разбиралась в английской грамматике и знала все тонкости глаголов и герундиев, а потому, что обладала счастливым свойством нравиться ученикам. Ей были присущи дар понимания, склонность к сочувствию, а это сразу притягивало к ней тех, кого она обучала, даже если она была чуть слишком религиозна и чуть

---

<sup>4</sup> Прости их, Господи, ибо они не ведают, что творят (*фр.*)

<sup>5</sup> Я открываю дверь... ты открываешь дверь (*фр., англ.*)

слишком сурова; они ей все прощали из-за кроткого выражения лица, белокурых волос, ласковых синих глаз. Попала в беду – расскажи об этом мадемуазель Бюссон. Захворала телом или душой, лежит груз на совести – ничего, милочка мадемуазель Луиза возьмет тебя за руку, пробормочет молитву у тебя над головой, может быть, даже обронит несколько слезинок – и поди-ка! Все грехи отпущены, ты опять ангелочек.

Юная Эжени Сен-Жюст дала Луизе клятву в вечной дружбе, и между ними возникла неподдельная приязнь, основанная на сходстве интересов; они обменивались книгами, делились мыслями, обсуждали свое малопонятное будущее, надежды и идеалы. Такое это было счастье – возбуждать в ком-то восхищение! Дома-то жизнь неустойчивая, напряженная: денег мало, двух младших необходимо кормить, а Луи-Матюрен ведет себя как какой-то паяц.

– То, что он увлекается пением, мы не осуждаем, – объясняла его сестра своей новой подруге. – Пусть благодарит Бога, даровавшего ему такой голос, это воистину дар Небес; но в какой он вращается компании – оперные музыканты, актеры, актрисы! Мама близка к отчаянию. Роберт написал ему из Лондона, Жак – из Гамбурга, но все напрасно. А есть, Эжени, кое-что и похуже, тебе я об этом скажу, хотя даже мама про это не знает.

Юная ученица широко раскрыла огромные темные глаза:

– Ах, мадемуазель!

– Тебе я скажу, но только пообещай: никому ни слова. Эжени, мой брат стал атеистом!

Они в ужасе смотрели друг на друга – та, что помоложе, лишилась дара речи; через некоторое время учительница английского снова кивнула.

– Да, – произнесла она медленно. – Луи-Матюрен не верит в Бога.

Она посмотрела в окно, на небо, укрытое белыми облаками, и подумала: как же так могло случиться, что ее брат, который когда-то разучивал первые молитвы, сидя у нее на коленях, и за руку с ней шел к первому причастию, мог безвозвратно потерять себя и отречься от вскормившей его веры? Она содрогнулась при мысли об адском пламени, которое ожидает несчастных отступников...

Обе вздрогнули, услышав стук в дверь; учительница отложила свое рукоделие.

– Что вам? – окликнула она.

– Мадемуазель Бюссон, вас просят выйти в гостиную.

Луиза пригладила кудри и следом за служанкой отправилась вниз.

Мадам директриса встретила ее у дверей гостиной.

– Возможно, у нас будет новая ученица, – проговорила она торопливо, – барышня-англичанка приблизительно ваших лет. Она хотела бы два-три месяца изучать французскую литературу. Я ответила, что во вторник, во второй половине дня, вы располагаете временем для частных уроков. По-французски она говорит достаточно свободно, но ее мать, которая тоже здесь, постоянно вмешивается в разговор. Какой у нее ужасный выговор!..

Луиза вошла в гостиную, и в нос ей тотчас ударил назойливый запах духов; она услышала голос, проговоривший громко и отчетливо:

– Чай? Нет, увольте, это не для меня. Принесите портера, если найдется.

Извиняющееся бормотание директрисы, предложение легкого аперитива. Луиза приготовилась к худшему.

Владелица голоса сидела в единственном удобном кресле в салоне мадам Пусар, откинувшись на спинку с таким видом, будто это ее собственная гостиная. Миниатюрная, средних лет, разодета в пух и прах. Капор с огромным козырьком – такой подошел бы только семнадцатилетней девушке – венчал завитые крашенные волосы, из-под меховой накидки выглядывало белое атласное платье.

А главное – на ней были вечерние туфли с пурпурными каблукчиками, и сидела она по-мужски, закинув ногу на ногу и покачивая крошечной стопой. Лицо было густо напудрено и крикливо размалевано: вместо того чтобы скрывать мелкие морщинки, пудра их только под-

черкивала. Красивые блудливые глаза поблескивали из-под накладных ресниц. На каждом пальце сверкало по перстню, надетому поверх перчатки; она гладила отвратительную лысую собачонку, надушенную и убранную лентами, как и она сама, – собачонка мелко дрожала у нее на коленях.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.